

18+

Помнишь,
Эдгар Аллан По?

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Александр Зайцев

Помнишь, Эдгар Аллан По?

Ты дал мне жизнь.

Теперь дай мне смерть

«Издательские решения»

Зайцев А. Ю.

Помнишь, Эдгар Аллан По? Ты дал мне жизнь. Теперь дай мне смерть / А. Ю. Зайцев — «Издательские решения»,

Однажды Эдгар По получил письмо от самого себя. Одно слово: «Помнишь?» Он поехал на встречу. И попал в город, где его ждали все, кого он убил на бумаге. Лигейя. Родерик Ашер. Береника. Тени, которые шевелятся на стенах. Им есть что сказать ему. А ему есть, за что просить прощения. Мистическая биография. Суд над творцом. Книга о том, что каждое слово имеет вес — и однажды каждому автору придётся за него ответить. Помнишь, Эдгар Аллан По?

© Зайцев А. Ю.

© Издательские решения

Содержание

— — ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРИГЛАШЕНИЕ	6
I	6
II	8
III	10
IV	11
V	12
VI	13
VII	14
— — ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ГОРОД МАСОК	16
I	16
— — II	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Помнишь, Эдгар Аллан По? Ты дал мне жизнь. Теперь дай мне смерть

Александр Юрьевич Зайцев

© Александр Юрьевич Зайцев, 2026

ISBN 978-5-0070-1958-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПОМНИШЬ, ЭДГАР АЛЛАН ПО?

— — ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРИГЛАШЕНИЕ

I

Истинно то, что я болен. Болен давно — так давно, что сама болезнь стала для меня здоровьем, а здоровье, если изредка оно и посещало меня, казалось чужеродным, почти неприличным состоянием, в котором я не знал, куда девать руки и как дышать, чтобы не потревожить эту хрупкую, непрощеную гостью.

Врачи говорят о моём сердце. Они всегда говорят о сердце — это удобно, это ничего не объясняет и избавляет от необходимости искать дальше. Сердце, милостивые государи, у меня действительно не в порядке. Но не то сердце, которое можно выслушать трубкой, прижав её к груди. То сердце, о котором я говорю, не бьётся — оно стучит. Стучит в висках по ночам, когда я пытаюсь уснуть. Стучит в пальцах, когда я держу перо. Стучит в каждой написанной строке, которую потом перечитываю и не узнаю — не потому, что строка плоха, а потому, что она написана кем-то другим, кем-то, кто живёт внутри меня и не платит за квартиру.

Я иногда думаю: что, если этот другой — настоящий я? А тот, кто сидит сейчас в этом кресле, смотрит на увядающий сад и слушает шаги Эльмиры в коридоре, — лишь оболочка, лишь черновик, который когда-нибудь сожгут или потеряют?

Сейчас я в Ричмонде. Сентябрь 1849 года. За окном — увядающий сад, который Эльмира всё ещё пытается поддерживать в порядке, хотя листья уже осыпаются и гниют на земле, образуя тот особый, сладковатый ковёр, по которому так хорошо идти, зная, что под ногами — смерть, но смерть красивая, почти приличная, смерть, которую можно показывать гостям.

Эльмира. Она думает, что я женюсь на ней. И, вероятно, я действительно женюсь — если, конечно, доживу до ноября. Она добра ко мне. Она заботлива. Она приносит мне чай и смотрит с той особой тревогой, с какой смотрят на часы, которые вот-вот остановятся, и никто не знает, когда это случится — завтра или прямо сейчас, пока стоишь и смотришь.

— Ты опять не спал, — говорит она, входя без стука. В руках у неё поднос с завтраком, который я не буду есть. — У тебя глаза красные.

— Я читал, — отвечаю я.

Это ложь. Я не читал. Я сидел в кресле и смотрел на стену. На стене — тени от свечи. Они шевелились. Я следил за ними и думал о том, что тени, пожалуй, честнее людей. Они не притворяются, что они — это нечто большее, чем отсутствие света. Они просто есть — и исчезают, когда гаснет пламя. Люди же... люди умеют исчезать, не переставая казаться.

— Тебе надо отдыхать, — говорит Эльмира. — Доктор сказал...

— Доктор сказал, что я умру, — перебиваю я. — Рано или поздно. Это единственное, в чём доктора никогда не ошибаются.

Она вздыхает. Она привыкла. За те месяцы, что я провёл здесь, она привыкла ко всему — к моим ночным бдениям, к моей раздражительности, к тому, что я могу молчать целыми днями, а потом вдруг заговорить так, что слова сыплются градом, и остановиться невозможно, и хочется только одного — чтобы этот град побил всё вокруг, включая её саму, лишь бы не держать это в себе.

— Тебе письмо, — говорит она, протягивая конверт. — Принесли утром.

Я беру конверт и сразу понимаю: что-то не так.

Бумага хорошая, дорогая, но от неё исходит странный запах. Запах гари. Не той, какой пахнет камин или сгоревшая свеча, — иной, глубокий, въевшийся в волокна так, словно бумагу эту держали над пламенем долго, очень долго, но так и не дали сгореть.

На конверте — моё имя. И адрес. И всё это написано моим собственным почерком.

— Кто принёс? — спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Не знаю. Мальчишка какой-то. Сказал, что срочно. И убежал.

— Мальчишка?

— Да. Лет двенадцати. Грязный, оборванный. Я хотела расспросить, но он уже скрылся.

Я вскрываю конверт. Внутри — один лист. На листе — одно слово.

Помнишь?

И ниже — адрес. Таверна «Золотая подкова». Балтимор.

Почерк снова мой. Но странный, не такой, каким я пишу сейчас. Моложе. Так я писал двадцать лет назад, когда ещё не знал, что каждое слово придётся оплачивать бессонницей.

— Что там? — спрашивает Эльмира, заглядывая через плечо.

— Ничего, — отвечаю я. — Приглашение.

Я не знаю, зачем я ей лгу. Быть может, потому что правда слишком странна даже для меня самого. Письмо от самого себя. Из прошлого? Из будущего? С того света? Здесь, в Ричмонде, в этой уютной комнате с завтраком на подносе и заботливой женщиной, которая хочет меня спасти, такая правда звучала бы безумием.

А я не хочу, чтобы меня считали безумным. Я хочу, чтобы меня считали странным. Это более уважаемо.

II

Она уходит, и я остаюсь один с письмом в руках.

Помнишь?

Помню ли я? Этот вопрос преследует меня всю жизнь. Помню ли я лицо матери — Элизы, актрисы, умершей, когда мне было два года? Нет, почти не помню. Помню только запах — духов, пудры, чего-то театрального, что осталось со мной навсегда и всплывает каждый раз, когда я вижу сцену. Помню ли я приёмную мать, Фрэнсис Аллан, которая любила меня и умерла, когда я был ещё подростком? Да, помню. Помню её руки, её голос, её слёзы, когда Джон Аллан — её муж, мой приёмный отец — отказывался платить за моё обучение. Помню ли я Вирджинию?

Я закрываю глаза.

Вирджиния.

Она была моей кухней, моей женой, моим ребёнком, моей матерью, моей музой, моей смертью. Мы поженились, когда ей было тринадцать, мне — двадцать семь. Люди говорили, что это неприлично. Люди всегда говорят, что что-то неприлично. А она просто была — тоненькая, бледная, с огромными глазами, в которых светилась вся та боль, что ей предстояло пережить со мной.

Я помню, как она пела. У неё был тихий, чистый голос, и когда она пела, мне казалось, что ангелы спускаются на землю. Я помню, как она кашляла. Первый раз это случилось зимой 1842 года. Кровь на платке. Я стоял и смотрел на эту кровь и не мог пошевелиться. Я знал, что это значит. Чахотка. Смерть. Медленная, мучительная, неизбежная.

Пять лет она умирала. Пять лет я смотрел, как тает её тело, как бледнеет её лицо, как гаснут её глаза. Я писал, чтобы не сойти с ума. Я писал «Ворона», «Колодец и маятник», «Сердце-обличитель». Я писал о смерти, потому что смерть жила со мной в одной комнате.

— Ты опять ушёл в себя, — говорит Эльмира, снова появляясь в дверях. — Завтрак стынет.

Я смотрю на поднос. Яйца, хлеб, чай. Всё это кажется мне чужим, ненастоящим, реквизитом из чужой пьесы.

— Я не голоден, — говорю я.

Она вздыхает и ставит поднос на столик у окна. Садится напротив. Смотрит на меня долго, изучающе.

— Эдгар, что с тобой происходит? Последние дни ты сам не свой.

— Я никогда не был своим, — отвечаю я. — Это не новость.

— Ты понимаешь, о чём я.

Я молчу. Она ждёт. Я знаю, что она будет ждать сколько угодно. Эльмира умеет ждать. Это её дар и её проклятие.

— Мне нужно в Балтимор, — говорю я наконец.

— Зачем?

— Там... там есть одно дело.

— Какое дело?

— Я не могу тебе объяснить.

— Ты никогда не можешь мне объяснить, — в её голосе проскальзывает горечь. — Ты всегда уходишь в свою тьму и не берёшь меня с собой. Я пыталась понять тебя, Эдгар. Я читала твои рассказы. Я знаю, что ты гений. Но я не хочу быть просто сиделкой при гении. Я хочу быть твоей женой.

— Ты будешь моей женой.

— Если ты доживёшь до свадьбы, — говорит она тихо.

Мы оба знаем, что это правда.

III

После обеда я поднимаюсь наверх, в комнату, которая когда-то была комнатой Вирджинии.

Эльмира сохранила её почти нетронутой. Не знаю, почему. Быть может, из жалости ко мне. Быть может, потому что сама чувствует присутствие той, кто была здесь до неё.

Я сажусь на старый стул у окна. За окном тот же сад, те же деревья. Здесь всё то же самое. Только Вирджинии нет.

Я помню тот день, когда она умерла. 30 января 1847 года. Мороз. Солнце светило, но не грело. Она лежала на этой кровати, худенькая, почти прозрачная, и дышала с трудом. Я держал её за руку. Рука была холодной, но она ещё сжимала мои пальцы.

— Не уходи, — шептал я. — Пожалуйста, не уходи.

Она улыбнулась. До сих пор помню эту улыбку — слабую, усталую, но полную такой любви, что у меня разрывалось сердце.

— Я всегда буду с тобой, Эдди, — сказала она. — В каждой твоей строчке.

Она умерла вечером. Я сидел рядом до утра, держал её руку, которая становилась всё холоднее, и не мог заплакать. Слезы пришли потом, через неделю, через месяц, через год. Они приходят до сих пор. Они никогда не кончатся.

В комнате пахнет пылью и увядшими цветами. Я встаю, подхожу к комоду, открываю ящик. Там лежат её вещи — платья, кружева, старые письма. Мои письма. Я беру одно, разворачиваю. Молодой почерк, пыльные слова. Я писал их, когда был счастлив. Когда думал, что счастье может длиться вечно.

Глупец.

Я кладу письмо обратно, закрываю ящик и выхожу из комнаты.

Внизу Эльмира хлопчет на кухне. Слышен запах пирогов. Она пытается накормить меня, согреть, спасти. Она не понимает, что спасти уже некого. Что я уже давно там, где ни пироги, ни чай не помогут.

IV

Ночью мне снится сон.

Я стою на улице. Город незнаком, но я знаю, что это Балтимор — знаю так, как знаешь во сне то, что наяву невозможно знать. Дома по обе стороны улицы горели. Пламя лижет стены, вырывается из окон, поднимается к небу, но не слышно ни звука. Ни треска, ни шипения, ни криков. Тишина стоит такая совершенная, что она звенит — звенит в ушах, в висках, в каждой клетке тела.

На мостовой лежат люди. Они скорчены, обгорелы, иные — без лиц, иные — без рук, иные — вообще не люди, а только тени, отпечатавшиеся на камне, но тени эти шевелятся, тянут ко мне обрубки, пытаются что-то сказать — и не могут, потому что в этом городе нет звуков.

Я иду вперёд. Трава под ногами — если это трава — гремит как жестяная, хотя ветра нет. Деревья вдоль дороги стоят голые, скорченные, и ветки их тянутся в стороны, как руки утопленников, которые уже не надеются на спасение, но продолжают звать по привычке.

В конце улицы стоит женщина. Я узнаю её сразу — по походке, по наклону головы, по тому, как падает свет на её плечи.

Вирджиния.

Я бегу к ней. Ноги не слушаются, воздух густой, как патока, я продираюсь сквозь него, задыхаюсь, но бегу. Она стоит и ждёт. Когда я уже в нескольких шагах, она поворачивается.

Лица у неё нет.

Только гладкая, обгорелая поверхность, на которой шевелятся тени — те самые, что лежали на мостовой.

Я кричу.

И просыпаюсь.

В комнате темно. За окном — ветер. Эльмира спит в соседней комнате — я слышу её ровное дыхание. Свеча догорела и погасла, оставив после себя запах воска и темноты.

Я сажусь на кровати. Руки дрожат. Сердце колотится где-то в горле.

На столе лежит письмо. Оно не приснилось.

V

Утром я собираю вещи.

Их немного — смена белья, рукописи, которые я беру с собой всегда, на всякий случай (а вдруг допишу? а вдруг закончу? а вдруг в этом проклятом Балтиморе найдётся тишина, в которой мысли не будут роиться змеиными клубками?), и то самое письмо. Я кладу его во внутренний карман сюртука — ближе к сердцу, тому самому, которое врачи называют больным.

Эльмира не плачет. Она держится с достоинством, которое страшнее любых слёз. Помогает застегнуть чемодан, поправляет мне воротник, целует в щёку сухими, холодными губами.

— Напиши, как доедешь, — говорит она.

— Напишу, — вру я.

— Эдгар...

Я оборачиваюсь. Она стоит в дверях, маленькая, хрупкая, с глазами, полными слёз, которые она не даёт себе пролить.

— Ты вернёшься?

Я смотрю на неё и понимаю, что не могу сказать правду. Не могу сказать, что, кажется, уйду навсегда. Не могу сказать, что этот город, эта женщина, эта жизнь — всё это уже позади, что я уже там, в том сне, на той улице с горящими домами.

— Вернусь, — говорю я.

Она кивает. Она не верит. Но ей нужно, чтобы я так сказал.

VI

На вокзале многолюдно. Сентябрь в Ричмонде — ещё почти лето, но уже с привкусом осени, той самой, которая пахнет увяданием и дальними дорогами. Я сажусь в вагон, нахожу место у окна. За окном мелькают лица провожающих — чужие, равнодушные, занятые своим.

Поезд трогается.

Я смотрю, как уплывает назад вокзал, потом дома, потом окраины, потом поля. Деревья за окном ещё зелёные, но где-то на периферии зрения мне всё время чудятся иные — голые, скорченные, тянущие обрубки веток в стороны.

Я закрываю глаза.

Стук колёс убаюкивает. В этом стуке есть ритм, почти музыка, почти тот самый ровный гул, который я так люблю в тавернах — гул, в котором можно раствориться, спрятаться от собственных мыслей, стать никем, просто частью общего шума.

Мысли не приходят. Впервые за долгое время — не приходят.

И это страшнее, чем любой рой змей.

Я открываю глаза и достаю письмо. Разворачиваю. Читаю снова: «Помнишь?»

— Помню, — говорю я вслух.

Сосед напротив — толстый коммерсант с красным лицом и бакенбардами — косится на меня с подозрением. Я улыбаюсь ему той особой улыбкой, какой улыбаются люди, которых лучше не трогать. Он отворачивается к окну.

Поезд несёт меня в Балтимор.

Или в ад?

Впрочем, для человека, который двадцать лет писал об аде, какая разница?

VII

К вечеру я задрёмываю.

Сон чуткий, поверхностный — я слышу стук колёс, слышу голоса в соседнем купе, слышу, как где-то плачет ребёнок, и мать успокаивает его усталым, безнадёжным голосом. И сквозь всё это — сквозь стук, голоса, плач — проступает иное.

Город.

Тот самый, из сна.

Он приближается. Я не вижу его, но чувствую — кожей, затылком, кончиками пальцев. Он ждёт. Он уже близко. Он дышит — и дыхание его — тот самый запах гари, который я уловил на конверте.

— Балтимор, — говорит кто-то. — Через полчаса прибываем.

Я открываю глаза. За окном уже начинаются пригороды — бедные домишки, пустыри, фабричные трубы. Серое небо. Серые крыши. Серые лица на перронах, мимо которых мы проносимся, не останавливаясь.

Ничего особенного. Обычный город. Обычная осень. Обычная жизнь, которая вот-вот кончится.

Я достаю из кармана письмо и перечитываю адрес.

Таверна «Золотая подкова».

Я бывал в ней когда-то. Давно. В другой жизни. Тогда она была весёлым местом, где собирались литераторы, актёры, просто любители выпить и поговорить. Теперь... что там теперь? И главное — кто там?

Поезд замедляет ход. За окном плывут склады, пакгаузы, ржавые составы на запасных путях. Балтимор встречает меня обычной своей неприветливостью — той особой, портовой угрюмостью, которая въедается в душу быстрее, чем туман въедается в кости.

Поезд останавливается.

Я беру чемодан и выхожу на перрон.

Воздух здесь другой. Гуще. Тяжелее. В нём чувствуется привкус соли, угля и ещё чего-то — того самого, что я не могу определить, но что узнаю сразу.

Запах гари.

Тот самый, с конверта.

Я оглядываюсь. Вокзал живёт своей обычной жизнью — носильщики таскают багаж, дамы в капорах суетятся у входа, газетчики выкрикивают новости. Всё как всегда. Всё обычно.

Но где-то там, в глубине города, ждут.

Я это знаю.

И я иду.

— — ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ГОРОД МАСОК

I

Балтимор встретил меня туманом.

Не тем лёгким, утренним туманом, который рассеивается с первыми лучами солнца, — иным, тяжёлым, жёлто-серым, он лежал на улицах, как больное одеяло, которым накрывают умирающего, когда уже всё равно, тепло ему или холодно. Он затекал в ноздри, в горло, в лёгкие, и каждый вздох давался с усилием, словно воздух здесь не хотел быть воздухом, а предпочитал быть чем-то более плотным, более осязаемым — быть может, той самой материей, из которой делают сны и кошмары.

Я вышел с вокзала и остановился.

Солнце стояло высоко — я знал это, потому что видел его диск, бледный, как лицо мертвеца, сквозь пелену тумана. Но света оно не давало. Совсем. Тени на мостовой лежали не там, где им полагалось лежать, — они тянулись не от меня, а ко мне, словно весь город был гигантским негативом, где свет и тьма поменялись местами.

Я оглянулся на вокзал. Он был там, где и должен быть, — массивное здание из тёмного камня, с часами на башне. Часы показывали половину четвёртого. Странно: я выехал из Ричмонда утром, дорога должна была занять не больше пяти часов, но солнце стояло так, словно было либо раннее утро, либо поздний вечер. Я посмотрел на часы ещё раз. Стрелки не двигались.

— Простите, сэр, который час? — спросил я у проходившего мимо носильщика.

Он остановился, посмотрел на меня пустыми глазами, открыл рот — и ничего не сказал. Рот его открывался всё шире, шире, чем это вообще возможно для человеческого рта, и оттуда, из глубины, пахло тем же запахом — гарью, въевшейся в бумагу.

Я отшатнулся. Носильщик закрыл рот, повернулся и пошёл дальше, не сказав ни слова.

— Час, — донеслось до меня откуда-то сбоку. — Час, час, час...

Я обернулся. На скамейке у входа сидел старик в лохмотьях и раскачивался вперёд-назад. Он повторял это слово бесконечно, как заведённый механизм, у которого сломалось что-то внутри, но остановиться он уже не мог.

Я подошёл к нему. Он не обратил на меня внимания.

— Час, час, час, час...

— Что час? — спросил я.

Он поднял голову. Глаз у него не было — только две тёмные впадины, в которых клубилась та же серая муть, что и в воздухе вокруг.

— Час пришёл, — сказал он. — Ваш час. Наш час. Час всех.

И снова закачался, и снова забормотал:

— Час, час, час, час...

Я отошёл. Сердце колотилось где-то в горле, но не от страха — от странного, почти забытого чувства, которое я не сразу смог назвать. Это было узнавание. Я был здесь. Я всё это уже видел. Во сне. В тех снах, которые мучили меня последние недели, месяцы, годы — всю жизнь, быть может.

Город был тем самым городом из моего сна.

И я был здесь, чтобы встретиться с теми, кто ждал.

— — II

Я двинулся вперёд, сам не зная куда. Адрес таверны был у меня в кармане, но ноги не слушались — они несли меня по улицам, мимо домов, мимо людей, мимо витрин, в которых не было товаров, только пустота, затянутая пыльной паутиной.

Люди попадались часто. Слишком часто для такого туманного дня. Они шли по своим делам, торопились, толкались, переговаривались — но голоса их звучали странно, приглушённо, словно доносились из-под толщи воды. И ни один из них не смотрел на меня. Я был для них пустым местом, тенью, которую они обходили, даже не замечая.

Я протянул руку и коснулся плеча одного прохожего — хорошо одетого господина в цилиндре, с тростью, явно спешащего по делам. Рука моя прошла сквозь него.

Не сквозь одежду, не сквозь тело — сквозь само понятие этого человека. Он был не плотью, а только воспоминанием о плоти, только отпечатком, тенью, оставшейся на стекле после того, как фотограф убрал камеру.

Я отдёрнул руку. Господин в цилиндре шёл дальше, не оборачиваясь.

— Вы их не видите, — сказал голос за моей спиной.

Я обернулся. Никого.

— Вы их не видите, потому что они не здесь, — продолжал голос. — Они там, где вы. А вы там, где они. Но между вами — стекло. Тонкое. Почти незаметное. Но стекло.

— Кто ты? — спросил я.

— Я тот, кто ждал, — ответил голос. — Мы все ждали. Вы пришли. Теперь можно начинать.

— Что начинать?

— Игру. Суд. Процессию. Называйте как хотите. Вы придумали правила, мистер По. Вы придумали нас. Теперь мы придумаем вас.

Я хотел ответить, но голос замолк. Вместо него из тумана выступила фигура — высокая, тощая, одетая в лохмотья, которые когда-то были дорогим костюмом. Лица у неё не было — только гладкая поверхность, на которой проступали и исчезали черты: глаз, рот, нос, снова глаз, но не на месте, выше, где положено быть лбу, и рот кривой, перекошенный, и всё это шевелилось, пульсировало, пыталось сложиться в выражение, но не могло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.